

*И никто не вернется в водоворот,
Где три ласковых голоса пели так сладко.*

Г. Аполлинер

«Ещё не время», – прошептала Женщина в Чёрном. Она сняла траурный платок, что покрывал её голову, и положила рядом со мной на холодный мокрый кафель. Она встала на колени и, наклонившись ко мне, повторила: «Ещё не время». Я почувствовал, как холодные губы коснулись моей руки выше запястья. Боли не было.

После она без жалости или сочувствия посмотрела мне в глаза, и я не смог отвести взгляд. Она молчала. Мне казалось, что проходили годы. Годы безмолвия. И я начал привыкать к тишине. К её холодным серым глазам. К редким и гулким ударам капель, разбивающихся о кафельный пол. И когда я свыкся окончательно, Женщина в Чёрном ушла. Встала с колен. Подняла полы вдовьего платья и пошла босиком по бесконечно длинному коридору, вымощенному чёрно-белыми плитами. Туда, где не было света. Она вернулась в свою обитель. Чёрные сделали ход.

...

Я люблю смотреть в окно. Особенно когда идёт дождь. Капли скатываются по стеклу одна за другой, смазывая четкость паркового пейзажа. Как на французских картинах. В моей старой комнате было много таких – мы вырезали их из иллюстрированных журналов и развешивали поверх обоев на стенах. А над рабочим столом у меня висела настоящая картина! В том смысле настоящая, что она не была вырезана из журнала. Это было копия с «Бульвара капуцинок». Она мне очень нравилась.

...

Здесь не было картин. Разве что в общей комнате иногда устраивались выставки. Рисовали соседи. Профессиональных художников не было, но некоторые работы можно считать неплохими. Лучшее всего выходило у Че. Он из «идейных».

По натуре – революционер. «А-ван-гар-дист», – с достоинством заявляет он о себе. И ещё жуткий похабник (но это уже характеристика, данная мной). Однажды он написал Париж, и очень правдоподобно получилось. Только вместо башни... «В этом городе явно не хватало мужского начала».

Поэтому я больше люблю смотреть в окно. После дождя клумбы зеленеют, а с листьев деревьев ещё долго осыпаются капли от малейшего дуновения ветра. Деревянные скамейки тоже мокрые – в такие часы в парке особенно не посидишь. Но я не расстраиваюсь. Всё равно на улицу можно выходить только в определённые часы. Мне достаточно любоваться видом из окна. Жаль только, что нельзя прижаться лбом к стеклу и ощутить его приятную прохладу: решётка мешает. Но это пустяки. Это даже хорошо, что есть решётка. Сколько себя помню – боялся высоты. А так хотя бы ощущаю себя в безопасности.

Вечера до отбоя я просиживаю в общей комнате перед телевизором. Мне быстро надоедает. Я этого никак не показываю и продолжаю смотреть, но только из вежливости. Обычно крутят музыкальные передачи. Ну, там песню нужно отгадать или ничего отгадывать не нужно, а просто девушки и парни поют на сцене. Бывают иногда программы о путешественниках. Вот тогда я пододвигаю свой стул поближе к телику! А как-то раз нам даже включили кулинарное шоу, но у Рыжика случился припадок, когда какая-то молоденькая девушка пыталась сделать отбивные. Лихо постучала она молоточком.

...

Всё упростилось. Я размышляю о простом. Точнее – не так. Я перестал задумываться о сложном. Наверное, это от таблеток, но я не уверен. Может, здесь просто мало людей, с которыми можно разговаривать серьёзно без опаски и напряжения, как с Лунатиком.

Он пробыл здесь не очень долго – около года. Помню, что он появился здесь ранней весной – ещё снег лежал. Не знаю, домой его забрали или куда-то ещё перевели. Но, чёрт возьми, я потерял хорошего собеседника! Я назвал его Лунатиком из-за сомнамбулизма. Хотя его постоянно пичкали снотворным, он не высыпался и ходил с чёрными кругами под глазами. Я назвал его Лунатиком, и прозвище прижилось.

Здесь у каждого есть прозвище. Меня, например, называют Гамлетом. Это Че придумал. Имена (наши старые имена) ничего не значат. Они не отражают сути. Мы – не то, что записано в наших паспортах и свидетельствах о рождении, водительских правах и пенсионных страховках. Только в больничных картах не указываются прозвища. Прозвище получаешь, будто бирку в гардеробе. Когда-нибудь ты расстанешься с ним и примеришь на себя старую шкуру – вернёшься к жизни, которую оставил. К жизни, которую сдал в гардероб.

Я не сразу подружился с Лунатиком. Долгое время он ни с кем разговаривал. На собраниях он ставил свой стул ближе к двери, в самом углу, так что всегда оказывался поодаль от нас. Уже стоял снег (весну ждали долго), когда он впервые подошёл ко мне. Не знаю, почему именно ко мне, а не к Чезаро, Дипу, ну или к Рыжику. Да мало ли к кому – у нас много соседей. Это была первая уличная прогулка в том году. Я сел на скамейку рядом со старой липой. Я люблю липы. Он широко шагал в одиночестве по тропинкам, вымощенным искусственным камнем. Он шагал и смотрел себе под ноги. И почему-то, поравнявшись со мной, тоже сел на скамейку. «Вы не возражаете?» Я не возражал. Пусть себе сидит – он не буйный. Такие не бывают буйными. Долговязый, коротко стриженный, с огромными синяками под глазами. Он зевнул, забыв прикрыть рот рукой, и, спохватившись, стал озираться по сторонам, после чего виновато улыбнулся мне.

– Вы давно здесь? – спросил он после паузы.

– Наверное, – протянул я, – не помню уже – тут легко потеряться во времени.

И это правда. В пределах двух лет за временем ещё можно как-то уследить, но потом... Дни становятся похожими один на другой. Когда замечаешь это – уже поздно. Кто-то измерил нашу жизнь, подчинил её расписанию. Завтрак по расписанию. Телевизор по расписанию. Выход по нужде по расписанию. Отбой по расписанию. И только весна в этом году нарушила привычный распорядок. Больничный распорядок.

И он, словно узнав мои мысли, заговорил о весне. Как-то получалось у него угадывать мои мысли, чувствовать настроение. Я готов это было это назвать даром – он называл это эмпатией. Только однажды он сказал то, что задело меня.

Было лето. Мы вели беседу о патологиях. И тут я почему-то вспомнил рассказ, который прочитал ещё в старшей школе. Там говорилось о человеке, который не различал реальность и сон. Герою рассказа вроде снится сон, где он убивает жену, а потом он начинает сомневаться. Не помню, чем всё там завершилось, но Лунатика это сильно разволновало. И как бы он не старался совладать с собой, я видел, что руки у него задрожали. Как у музыканта, задающего ритм на клавишах. Он крепко ухватился пальцами за край скамейки, и внутри него что-то захрипело и забулькало, будто слова стали вязкими и липкими и никак не могли вырваться. И когда его перестало трясти, он спросил: «Давно к тебе никто не приходит?».

Раньше ко мне приходили.

...

Сорок девять дней скорби. Она пришла на пятидесятый день. Точнее вернулась. Мотыльки бились в стёкла, и я распахнул окно. Подхваченные дыханием ночного ветра, они наполнили комнату серебряным шёпотом. Серебряным вальсом кружили они. Она села на мою кровать. Словно и не было этих ужасных дней скорби и отчаяния. Словно и не было боли. Боли не было – была Она.

Так проходили многие ночи. Короткие ночи, потому что близился июнь. Лунные мотыльки сопровождали Её. Она улыбалась, глядя на меня, и мои страхи исчезали. А когда наступало время расставания, мотыльки, что кружили под потолком моей комнаты, слетались к ней, окутывали её тонким покровом, защищая от первых утренних лучей безжалостного солнца. Так я оставался один до следующей полночи. Я мог бы рассказать об этом Лунатику. И ещё о той, что носила траур. Она пришла многим позже и, поцеловав мои раны, обрекла меня на одиночество.

С тех пор, как я здесь, ко мне никто не приходит.

...

Я всё думал – рассказать или не рассказывать, но заметил, что мой товарищ мирно храпит на скамейке. Это освободило меня от тяжести выбора. А когда я разбудил его, то он и не помнил, о чём мы говорили. Или притворился, что не помнит. За это я и любил Лунатика – он умел балансировать. Он всегда чувствовал грань, которую нельзя переходить.

...

Утро. Солнечный свет ослепляет меня, и я долго моргаю, чтобы исчезли фиолетовые блики. Но они не исчезают, и я усиленно тру глаза пальцами.

Однажды Лунатик спросил меня, почему по утрам светло. Спросил без причины и совершенно серьёзно. Мы хорошо общались, и я знал, что он почти никогда не шутит. «Потому что солнце поднимается», – ответил я. Он долго думал – не знаю, что творилось в его голове. И только потом сказал: «Светло – потому что мы открываем глаза».

Фиолетовые блики проходят.

...

В общей комнате снова крутят музыкальное шоу. Девушка поёт по-испански. Я не знаю языка и из всей песни понял только, что она про луну. Ну или вроде того. Че старается перевести (его мать начале шестидесятых преподавала на Острове Свободы), но у него не выходит. Тогда он придумывает какую-то отсебятину. Но песня-то от этого не хуже. Обычно я не люблю смотреть песенную дребедень по телику, но эта мелодия зацепила. Что-то было в ней... будто из далёкого прошлого.

Или далёкого будущего.

Я увлекаюсь своими мыслями и начинаю чесать запястья. Такое со мной бывает, когда я пытаюсь что-то вспомнить или сильно переживаю. Ногти у меня подпиленные, чтобы не пораниться. Но я часто по ночам ухитряюсь расцарапывать себя. Когда это замечают, увеличивают дозу. Хорошо уже, что не привязывают.

Я перестаю чесаться, поймав на себе взгляд Дипа. Вообще, он добрый малый, но сегодня чего-то хмурится и отворачивается. Дип из рокеров – ну или металлистов – я в этом не особенно шарю. Такие ребята часто гостят у нас. Головокружение от успеха, нервный срыв – и вот, пожалуйста, готовьте новую койку. Через полгода – год, они, поправив нервы, забирают вещи из гардероба и прощаются с нами. Некоторые возвращаются спустя время и делают вид, что никого не узнают.

Но Дип здесь давно. Его реабилитация затянулась. Наверное, это из-за отца, но никто наверняка не знает. Дип как-то сболтнул, что он «потомственный»: мол, его папаша

тоже гостил в госпиталях после Второй Мировой. Спустя месяц после очередного возвращения к повседневности из закрытого пансионата он пустил себе пулю в голову из трофейного пистолета.

В последнее время запястья чешутся невыносимо...

...

Невыносимо. Ждать полночи, зная, что рассвет сулит расставание. Невыносимо. Ощущать холод, касаясь губами губ. Невыносимо. Чувствовать грань. Грань – будто решётка на окнах. Невыносимо. Терпеть, как зубья клетки хрипом вгрызаются в горло. Так приходит Великое Отчаяние – поздней осенью. Дождливой осенью. Дрожит секундной стрелкой. Стучит в окна – отзвуком-пульсом – в самое сердце. Капли скользят по вертикали стёкол, а дальше – по откосам – навстречу бездне. Разбиваются.

...

Тошнота. Всё едет перед глазами. Кружится – белое и чёрное. Мелькают люди без лиц. Мужчины и женщины – не разобрать. Маски. Они говорят одновременно. Их голоса слились. Кричат. Шепчут. Спорят. От них не сбежишь. А после – мягкие стены. Они обиты чем-то вроде спортивных матов. Пол тоже немного пружинит, когда ступаешь на него. Свет режет глаза. Дневные лампы холодного света под потолком. Они горят почти всегда. Когда их отключают, наступает ночь.

С головы сняли повязку. Мне ужасно не нравилось ходить в бинтах. Ссадины заживают быстро. Только чешутся... Приходится терпеть – не могу освободить руки. Но ничего, к этому привыкаешь. Хуже всего то, что нет окна. Только белые стены и глянцевый пол.

...

Она – новенькая. Приходит перед тем, как гаснет свет. Вместе с ней двое из персонала. Один с чемоданчиком. У другого руки не заняты, чтобы быть всегда наготове. Она спрашивает о моём самочувствии, а потом делает какие-то пометки в толстой записной книжке. Даёт указания тем двоим.

После третьего визита меня развязали. Под честное слово, если я буду вести себя спокойно. Я кивнул, что не собираюсь нарушать режим. Когда она пришла в четвёртый раз,

я попросил фломастер, которым она вела записи. По-моему, в этом ничего такого не было, но те сразу насторожились. Первый щелкнул замками чемодана, а его напарник вытащил руки из карманов. Она поколебалась, но всё-таки исполнила просьбу.

Я повертел фломастер в руках. Коричневый... но тоже сгодится. Я подошёл к стене и снял колпачок. Руки дрожали, и поэтому линии получались кривыми. Меня хотели остановить, но Она сказала мне: «Продолжайте», – а тем парням сделала знак рукой, чтобы не мешали.

Я нарисовал окно. Без решёток. Маленький карниз. И по краям – занавески. Оконная рама вышла сильно покосившейся, но меня всё устраивало. Я вернул фломастер и внимательно посмотрел на Новенькую. Она улыбнулась и пообещала, что завтра принесёт целый набор. Но я отказался – коричневого было достаточно.

...

Ты вернёшься. Я слышу твоё имя. Я знаю, что безмолвие наполнится шёпотом крыльев. И тогда всё закончится. Всё забудется. Всё простится.

...

Новенькая поинтересовалась, хорошо ли мне спалось. Наверное, у меня был уставший вид. Уставший, но счастливый. Я честно ответил, что не ложился. Она что-то шёпотом спросила у помощников. Те растерялись, но заверили, что дозировка была достаточной.

Она сделала запись в блокноте и стала внимательно изучать меня взглядом. У неё голубые глаза. Не спрячешься. «Что помешало вам уснуть?» Я пытался сначала отмалчиваться, но она повторила вопрос.

«Мотыльки», – ответил я. «Мотыльки?» – она показалась мне удивлённой. «Да. Они бьются в окна».

Фломастер зашелестел по бумаге.

Мне почему-то захотелось, чтобы она поняла меня. Лунатик бы обязательно понял, но его не было рядом. «Закройте глаза, – говорю я ей, – закройте хоть на несколько секунд. Пожалуйста». Она отрывается от записей и послушно закрывает глаза. «Слышите? – продолжаю я, – Они зовут».

Она ничего не говорит. И я понимаю, что повёл себя глупо. Лишнего наболтал. Один из помощников трогает её за плечо и показывает наручные часы. Она убирает фломастер в карман халата. Закрывает записную книжку и собирается уходить. Желает спокойной ночи. Чересчур мягко, как мне кажется. Она толкает тяжёлую дверь в коридор, но я успеваю спросить: «Когда я смогу вернуться?»

Она оборачивается, стоя в дверях. «Вопрос о вашем переводе в старую палату скоро решится». Будто по бумажке прочитала.

Я не вижу её лица. Между нами эти двое. «Нет, – говорю, – вы не понимаете. Когда я смогу совсем уйти?»

До того, как погас свет, Женщина в Белом ответила: «Ещё не время».